

Николай Александрович Бестужев

Похороны



Николай Александрович Бестужев

Похороны

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4656603

Аннотация

«Неожиданная смерть этого человека, на погребение которого приглашали, была причиною моего чрезвычайного удивления. Еще не прошло недели, как я видел его в цвете лет, окруженного милым семейством, женою и детьми, посреди блестящего круга знакомых, игравшего знатную роль в большом свете, где все обещало ему светлую будущность...»

Николай Александрович Бестужев Похороны

1

¹ Рассказ впервые опубликован И. С. Зильберштейном в кн.: Литературное наследство, т. 60, кн. 1, с. 186–190. Текст рассказа был вписан декабристом Н. И. Лорером в альбом, подаренный им А. А. Капнист. В Читинском и Петровском острогах Лорер был в числе ближайших друзей Н. Бестужева и высоко ценил его литературный талант. В своих воспоминаниях он называет Н. Бестужева «отличным писателем» (Лорер Н. И. Записки декабриста. Подгот. к печати и коммент. М. В. Нечкина. М., 1931, с. 148). Выходя на поселение, Лорер снял копии с некоторых произведений своих товарищей, в том числе и с рассказа «Похороны». Написано, по свидетельству Лорера, в Читинском остроге. Н. Бестужев пробыл в Чите с середины декабря 1827 по 23 августа 1830 года, когда декабристы были отправлены из Читы в Петровский завод. По предположению И. С. Зильберштейна, рассказ написан в 1829 году, так как, по-видимому, предназначался для задуманного декабристами альманаха «Зарница». Об этом замысле мы знаем из воспоминаний М. Бестужева (см.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 140) и из письма П. А. Муханова к П. А. Вяземскому от 12 декабря 1829 года, отправленного «по оказии» из Читинского острога в Москву. Муханов писал: «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите – отдайте в печать. Может быть, ваши журналисты Гарпагоны дадут хоть по гривенке за стих. Автору с друзьями хотелось бы выдать альманах *Зарница* в пользу невольных заключенных. Но одно легкое долетит до нас. Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой. Замолвьте слово на Парнасе: не помогут ли ваши волшебники блеснуть нашей *Зарнице*? Нам не копить золота: наш металл – железо...» (Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев, с. 187). Издать альманах не удалось. В «подводе с прозой», как полагает И. С. Зильберштейн, был и рассказ Бестужева.

«Г-жа N. N. с малолетними детьми, с прискорбием извещая о кончине супруга ее, случившейся сего августа в... день, просит пожаловать... числа на погребение и вынос тела из дому, состоящего в N в... квартале и проч.»

Неожиданная смерть этого человека, на погребение которого приглашали, была причиною моего чрезвычайного удивления. Еще не прошло недели, как я видел его в цвете лет, окруженного милым семейством, женою и детьми, посреди блестящего круга знакомых, игравшего знатную роль в большом свете, где все обещало ему светлую будущность. Мы были с ним знакомы с детства, даже в годах первой молодости, я думал, что мы были дружны, но вскоре различная участь наша, оставившая меня на той же ступени, где я стоял, и призвавшая его в круг большого света, разочарова-

Рукописи, приготовленные для альманаха и находившиеся у П. А. Муханова (в январе 1832 года он вышел на поселение), погибли. Как это случилось, мы знаем из воспоминаний М. А. Бестужева о «казематской эпохе»: «У нас завелись перья, чернила, бумага; книг уже было вдоволь, журналов и газет даже слишком. Завелись литературные вечера, ученые лекции, диспуты <...>. То была самая цветущая эпоха стихотворений, повестей, рассказов, мемуаров. Тогда были написаны те повести, которые недавно напечатаны с именем брата Николая, и многие другие, уничтоженные при периодических мерах строгости или других обстоятельствах. Тогда же был написан целый ряд морских повестей, из коих самые лучшие были сожжены Мухановым при домовом обыске на поселении по доносу одного чиновника. Все они были отданы ему, как многие сочинения брата Николая, для напечатания... Черновые мы сохранять боялись от казематских обысков, так все они погрузились в Лету» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 126).

ла меня. Мы остались знакомы, т. е. я получал приглашения на свадьбу, обеды и прочее; но развлечения и обязанности и все, что называется жизнью большого света, не оставляли бывшему другу моему времени, чтоб позаботиться о дружбе нашей. Изредка только, если случалось ему заставить меня дома, когда у него было намерение оставить карточку, он забегал ко мне на минуту, а иногда, забываясь, при воспоминании старинных наших связей, оставался на несколько часов; но тут я видел всегда другого человека от прежде бывшего товарища. Его живость исчезла, вместо благородных порывов, столь приятных в юноше, заступила какая-то равномерная важность, вместо простосердечной остроты, доставлявшей нам некогда приятные минуты, явилась тонкая ирония, которой наружность носила на себе печать строжайшего приличия, но которой смысл всегда был ядовит; образ его мыслей, суждений лишился прежнего прямого, ясного и нелицеприятного изложения. Вместо оных являлось всегда осторожное, не полное, иногда двусмысленное мнение, от которого он готов был отпереться каждую минуту.

Мы с ним были несогласны во многом: он упрекал меня, что я не люблю большого света; я приводил в свое оправдание его собственную перемену; он доказывал, что большой свет не любит излишеств и порывов; я видел во всем этом свете одну только холодность; на это он отвечал, что все защищаемое мною составляет одни странности и что я с ними — *оригинал*, а это большая брань в большом свете, и, след-

ственно, будучи *оригиналом*, я не мог быть другом светского человека.

Как бы то ни было, я все любил его и когда получил приглашение на похороны, мне стало горько известие о его временной кончине; я представлял себе горесть жены, детей и домашних, участие знакомых и собрался на похороны, чтоб разделить общее чувство печали с теми, кои, подобно мне, казалось, всегда были расположены к этому человеку.

Я не поспел на вынос и должен был проехать прямо в церковь. Там посредине стояла высокая катафалка. Ступени ее были обиты черным сукном; бархатный балдахин со множеством страусовых перьев и гербом фамилии осенял стоявший на катафалке гроб; множество свеч горело кругом; множество людей всякого звания волновались около гроба; священство, пение, молитвы, дым кадильный, окружавший облаками сию необыкновенную сцену, – все это возбудило во мне скорбное ощущение. Воображение, развивая все происшествия первой жизни моей цепью, которой первое звено составляло нашу дружбу с покойным, невольно приковывало последнее кольцо этой цепи к гробу, передо мной стоявшему. Мысли быстро катились и наполняли грудь; наконец ей стало тяжело. Я забылся и заплакал; слезы мои катились не долго; меня пробудил от моей забывчивости глухой шум полувнятных вопросов, полуотвеченных слов, – я окинул глазами собрание и увидел, что взоры всех были обращены на

меня. Тут я только вспомнил, что нахожусь посреди большого света, где приличие должно замещать все ощущения сердца и где наружный признак оных кладет печать смешного на каждого несчастливца, который будет столько слаб, что даст заметить свое внутреннее движение. Признаюсь, к первой слабости я прибавил другую: мне стало стыдно, — я удалился в угол и, мало-помалу оправившись от замешательства, стал равнодушнее замечать, что предо мною происходило.

Но там ничего не происходило. Казалось бы, что этот обряд должен был сопровождаться чувствованиями, приличными сему торжественному действию, где смерть похитила у семейства супруга, отца, подпору, где каждый член осиротелой семьи внезапно потрясен печальною переменою образа жизни, милой привязанности, где скорбь так прилична, где слезы так необходимы. Но это с большим великолепием отправленное погребение было так же монотонно, как обед, бал или свадьба в большом свете. Супруга и дети покойного, по этикету, должны были оставаться дома; другие родственники, провожавшие гроб, не имели причин ни радоваться, ни печалиться; остальные поезжане или были приглашены также по этикету и с нетерпением ожидали конца похорон для любопытствовали видеть богатый гроб и пышность, окружавшую бранные останки человека большого света.

И так, ни в одном глазе не было слез; не было печального лица, какое-то убийственное равнодушие и холодность цар-

ствовали во всем этом сборе, который волновался, прибывал, убывал и не производил на душу никакого впечатления. Сначала по заботливости, с какою некоторые дамы обыскивали свои ридикюли, чтобы удостовериться, с ними ли скляночки спиртов и солей, я полагал, что печальная сцена не обойдется без обмороков, слез и других припадков женской чувствительности; но похороны миновались без всякого случая, подобно грозе, пронесшейся над городом, где много громовых отводов, молча выискивающих молнию, не давая ей разразиться. Думаю, что в самом деле спирты и духи служили сими отводами.

Наконец, обряд был совершен. Меня всегда утомляла эта торжественность, в которой никто никогда не принимает участия, как будто все сии приготовления делаются вовсе не для тех, кои на них приглашаются.

Я был рад, когда кладбище мало-помалу опустело, и я остался один между мертвых, столь же безмолвных и холодных, как люди того сословия, откуда я только что вырвался.

Долго ходил я между гробов и собирался идти домой, как вдруг сквозь ограду кладбища увидел что-то необыкновенное, привлекавшее мое внимание, но чего я не мог рассмотреть, ибо начинало уже смеркаться – и движение черного предмета, попеременно скрывавшегося и появлявшегося из-за памятников и кустов, мешало определить образ оного.

Я был в самом отдаленном краю кладбища и, видя, что предмет моего любопытства приближается к воротам, сел на

могилу в ожидании развязки; наконец оный оказался, повернул ко мне, и я увидел, что это были похоронные дроги со стоящим на них черным гробом. Лошадь была покрыта черною попоною; лошадью правил человек в черной же епанче, в большой шляпе с распушенными полями. За гробом не было никого, но когда дроги приблизились, я увидел большую черную собаку, которая шла с опущенной головою и повисшими ушами, изредка оглядываясь на стороны, и боязливо поджимала хвост при малейшем шуме, производимом колесами повозки около кустарников или голосом кучера, ободравшего тощую и уставшую лошаденку.

– Кого ты привез, любезный друг? – спросил я повозчика.

– Бедного старика, – отвечал он, – которого полиция хоронит от себя.

– Разве у него не было никого родных или знакомых?

– Никого, кроме этой собаки, которую я не могу отбить от гроба.

Эти слова поразили меня, я не мог отказать движению участия, взволновавшему мою душу, встал и пошел за гробом. Собака сначала отбежала на несколько шагов, но я окликнул ее и она, будто бы узнав мои внутренние побуждения, приблизилась опять и хотя не отвечала на мои ласки, но шла со мною рядом без боязни, изредка только помахивая хвостом, когда я время от времени хотел ее погладить.

Я привел себе на память утренние сцены, но мысли мои так были встревожены нечаянностью этой встречи, что я не

мог себе дать отчета, нахожу ли сходство между теми и другими похоронами или вижу между ними какую-нибудь разность. Впрочем, мне было не до сравнений. Гроб подъехал к самому дальнему концу кладбища, где стояла маленькая избушка, из которой вышел навстречу могильщик; он узнал полицейского повозчика и с досадою сказал:

– Опять бедняк! От этих голяков только натираем мозоли без всякой выгоды, – и так поздно! Нельзя отдохнуть после дневного труда.

– Не печалься, добрый старик, – сказал я, выступая из-за гроба, – потрудись закопать этого покойника, он остался не без друзей и приятелей, я заплачу тебе за труд твой.

Могильщик в удивлении снял шляпу, повозчик обернулся ко мне, посмотрел с изумленным видом, ибо он не заметил, что я следовал за мертвым, слез с козел, и оба, ни слова не говоря, начали снимать гроб, поглядывая на меня искоса. Один взялся за лопату, другой хотел оборачивать лошадь, но я посулил ему на водку, ежели он поможет спустить гроб в могилу. Он покачал головою, сложил руки, оперся на дроги и в таком положении остался ждать конца действия.

Могила была вырыта, начали опускать покойника. Собака, стоявшая в одинаковом положении подле гроба, в эту минуту подняла жалостный вой, начала бегать кругом, наконец, прыгнула в яму и, не взирая на усилия могильщика, не хотела оттуда вылезть. Если он хотел взять ее, она лаяла, грозила зубами, глаза ее горели, шерсть поднималась щетиной.

– Ударь ее заступом, – сказал повозчик, – пусть останется в одной могиле с хозяином: ведь он и сам умер, как собака.

– Боже сохрани! – сказал я с негодованием. – Я хозяин собаки с этой минуты – и никто не смеет тронуть ее!

Но могильщику не нужно было увещания: ему стало жаль собаки. Он оперся на заступ, опустил голову на руки и с сожалением смотрел на нее.

– Что же мне делать, барин? – сказал он тихим голосом, по которому заметно было внутреннее его движение.

Я слез в могилу и старался приласкать собаку. Она не лаяла, не злилась за то, что я гладил ее, но когда я хотел ее брать, она поднимала такой страшный вой, что руки мои невольно опускались от ужаса. Наконец, мне удалось накинуть ей на шею петлю платок и вытащить ее из могилы.

Когда засыпали яму, бедное животное сделалось тише. Я заплатил обоим рабочим, велел могильщику выложить могилу дерном и хотя с трудом, но потащил собаку за собою, несмотря на ее визг и упорство. За кладбищем она успокоилась, и вскоре я повел ее без сопротивления.

Если нравственные чувствования в человеке располагают людей в его пользу, если непритворная горесть, если скорбь несчастья заставляют нас принимать участие в разумном существе, одаренном душою чувствительною, долженствующею необходимо быть хранилищем сих ощущений, сколь более неожиданность встречи сих благородных свойств разительна в животном, которого грубый *инстинкт*, как назы-

вают его люди, простирается не далее потребностей самосохранения.

Конечно, инстинкт может научить собаку подавать платок, отыскивать потерянную вещь и делать множество других фиглярских затей, но не он научил ее любить даже до самоотвержения.

В этот и на другой день напрасно старался я обласкать и накормить нового знакомца; он лежал в углу, печально отвечал на мои ласки легким движением хвоста; часто подходил к запертой двери, и когда она отказывалась уступить его лапе, он с жалостным стоном опять ложился на старое место.

Я привязался чрезвычайно к этой собаке, придумывал разные способы, как бы ее заставить есть; наконец, уже на третий день мне пришло в голову сводить ее на могилу хозяйина и там попробовать ее накормить. Истощавшая и слабая, она с радостным лаем бросилась за мною, бодро добежала до кладбища, но почти обессиленная и с знаками прежней горести легла подле свежесложенной дерновой могилы. С полчаса, как бы уважая ее горесть, я не смел начать моего испытания, но после, сев на могилу, положив ее голову к себе на колени и с обыкновенными ласками растворив ей рот, положил небольшой кусок мяса. Нельзя представить моей радости, когда я увидел, что она проглотила этот кусок! Я дал ей другой, третий, наконец, столько, что было довольно для ее подкрепления.

Коротко сказать, моя собака отказывалась всегда есть у

меня дома, принимала пищу только на могиле и убегала всякий раз туда, как скоро находила возможность; но я не терял надежды мало-помалу приучить ее к себе, водил ее на могилу и, чтоб она не бегала туда без меня, запирали ее вверху в комнате, куда ходил сам.

Однажды я собрался вести в обыкновенное время моего пленника, к которому я более и более чувствовал привязанность, как один мой знакомый посетил меня с известием о некотором важном деле. Прогулка была отложена, я запер опять собаку вверху и занялся разговором. Важность предмета похищала минуту за минутою, несколько часов прошло, но материя не истощалась, – как вдруг услышали мы оба, будто на улице что-то упало. Знакомец мой сидел подле окна и, выглянув, посмотрел во все стороны, но, ничего не видя, спокойно продолжал разговор; прошел еще час, пока мы кончили беседу, и когда он ушел, а в ту же минуту бросился наверх, зная тоску бедного животного, если урочное время проходило, и что же?.. В ужасе увидел только пустую комнату, в коей растворенное окно разительным образом объяснило мне загадку падения, слышанного нами во время разговора!..

Я выбежал на улицу, полагая, что невозможно сойти с места после такого скачка; но там ничего не было, кроме нескольких капель крови! Я побежал на кладбище.

И точно – верная собака дошла до кладбища, вползла на могилу, и когда я подошел к ней, она едва собралась с сила-

ми приподнять голову. Я не знал, что делать: оттирал ее, ласкал, но ни ласки, ни попечения не помогали. Через несколько минут она подняла голову, поглядела на меня такими глазами, выражение которых было значительнее тысячи слов, полизала мне руку – и умерла!..

* * *

Я прошу прощения у тех людей, которые найдут мой рассказ о собаке слишком долгим. Заклучю тем, что, по-моему, нет памятника, более говорящего сердцу, как тот, который поставлен после сего на Немецком кладбище Васильевского острова Гансу Дитриху Гантвиху и на котором лежит мраморное изображение верной собаки...